

В. П. АСТАФЬЕВ

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А91

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Астафьев, Виктор Петрович.

А91 Прокляты и убиты : [роман] / Виктор Петрович Астафьев. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 896 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-112574-5

Над романом-эпопеей «Прокляты и убиты» Астафьев работал долго — с 1990 по 1994 г. — и так и не написал запланированной последней, третьей книги, однако это не помешало произведению стать одним из самых сильных и пронзительных образцов российской «военной» прозы.

Необычно уже само название романа, пришедшее из писаний русских старообрядцев: «Все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты».

Столь же необычно в этой эпопее все — идея войны как наказания Божия, посланного народу за ужасы революции и отказ от веры; предельный реализм в описаниях солдатского быта; удивительно искренний и народный патриотизм, сочетающийся со столь же глубинным и народным неприятием «советчины». Ничего подобного в русской «военной» прозе не было ни до, ни после удивительной эпопеи Астафьева.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-112574-5

© В.П. Астафьев, наследники, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Книга первая
ЧЕРТОВА ЯМА

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Святой апостол Павел

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами шелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах, до самых окон, налип серый, зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съежился от усталости и стужи.

Вокруг поезда, спереди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединило стылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да резко пронзало оцепенелую мглу краткими шелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.

Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым, черным птицам.

Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, спокойное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства, слышался словно бы на исходном дыхании выпускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучащий вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похихатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук.

Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, багажной, полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое иль стоне проступали шаги, грохот огромного строя — сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет, он поет.

Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно-злые люди в ношенной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять: где поют? кто поет? почему поют?

Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижном мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар,

вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные, протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались: «Шли по степи полки со славой громкой», «Раз-два-три, Маруся, скоро я к тебе вернуся», «Чайка смело пролетела над седой волной», «Ой да вспомним, братцы вы кубанцы, двадцать перво сентября», «Эх, тачанка-полтавчанка — все четыре колеса-а-а-а».

Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размицканным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирало воедино, объединяло и смягчало человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и оттого, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху.

И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...» — грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, гасила, снимала все другие, слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов — только грохающий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песни, и чудилось им: во вдавленных каблуками ямках светилась не размицканная брусника, но вражеская кровь.

Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие пэтээрсы с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий, на

бой они шли, на кровавую битву, и не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами, обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающим тобою, все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь.

И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в Лешке все не смолкало, все надломленно-грозно произносилось: «Вставай на смертный бой...» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важней и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны да и неважны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.

Душу Лешки посетило то, что должно поселиться в казарме и в тюрьме, — вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд: топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами, — он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ: не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить

палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или, тем паче, пить горючку, — он покорно повторил приказание и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что, если кто нарушит, с тем разговор будет особый.

У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден, в запасном полку он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтоб она пропала, провалилась, сгорела в одночасье — так заявил он.

Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых непробритых санках челюсти, да сорно лепилась редкая поросль под носом, глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лешки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лешка кивнул на толстобрюхих сидора угрюмых людей из старообрядческих таежных краев, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу, — эти асмодеи не обеднеют, если поделятся припасами.

Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев — многие уже спали, блатняки из золотишных забоев Байкита, Верх-Енисейска, с Тыра-Понта, как они говорили о других, секретных районах, сложив ноги калачом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издаля давал игрокам советы и указания: чем бить, каким козырем крыть. В темном, дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плошки да лениво горящая чугунная печка без дверец, на

краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали, прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили.

На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился: «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого...»

— Отставить! — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал.

Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли.

Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице, сам опять устроился на чурбаке против квадратно пробуренного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него.

В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблизя лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы да слежавшейся хвои на нарах — вместо постели тоже настелены жесткие ветки — разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи.

Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посоветались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, сложенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную зобенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, от-

10 резал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал еще

ломоть и, назвав фамилию — Зеленцов, сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу.

— Сохатина! — раздался голос Зеленцова с нар, скоро и сам он сполз вниз, принялся широкими, будто драными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить.

— Некурящие мы, — потупился старообрядец.

— И непьющие?

— По святым праздникам коды. Пива...

Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издавая кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Чё мы да мы?» — заныли парни и, брякая посудиной, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую, сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.

Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в печке зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатали ее ближе к трубе, в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислоту и вонь.

На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чуланки, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок.

— Па-аа-абереги-ы-ы-ысь! — послышалось в казарме, и от двери, весело брякая, покатились рыжие чурки, было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-нито находчивыми пыльщиками.

Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощелкала, постреляла да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ, со всех сторон родственно ее объяввший, ел картошку, распрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-однодворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых даях.

Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным, из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл — притоке Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в доме двенадцать, родни и вовсе не перечесать.

Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить, но, когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял.

— Я ж тебе, парнишша, говорил: покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру... — Коля приостановился и гоготнул: — Не шшытая брызгов! — И далее серьезно, как политрук, повел мораль: — Понос штука переходчивая, а тут барак, опчество — перезаразишь народ. — Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил: —

12 Скипятится, и пей — как рукой сымет.

Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца.

— Что это? Что за лекарство? — спрашивал народ, потому что не одному Петьке Мусикову — так звали парнишку-дристуна — требовалась медицинская подмога: дорогой новобранцы покупали и ели что попадая, напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы.

— Сушеная черемуховая кора с ягодой черемухи, кровохлебка, змеевик, марьин корень и ешшо разное чего из лесного разнотравья, все это сушеное, толченое лечебное свойство освящено и ошоптано баушкой Секлетиной — лекарем и колдуном, по всему Амылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, но против баушки... — Коля Рындин значительно взнял палец к потолку. — Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу — все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И ишшо брюхо терет.

— Брюхо-то зачем? Кому? — веселея, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин.

— Кому-кому! Не мне жа! Жэншынам, конешно, чтобы ребеночка извести, коли не нужон.

Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира — Яшкина. Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков.

— Если не уймется, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить!

— Я б твою маму, генерал...

— Маму евоную не трожь, она у него целка.

— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..

— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..

— Сказал, выгоню!

— Кто это выгонит? Кто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?

- Молчать!
- Стирки* не трожь, генерал! Пасть порву!
- У пасти хозяин есть.
- Сти-ырки не рви, пас-скуда!

Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколках блатной и тут же, взлаяв, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лешка, Зеленцов, дежурные с помощниками двоих деляг сдернули с нар и заголившиеся спинами тащили волоком по занозистым, искрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили — охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее о телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими, выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы:

— Шухер еще раз подымете, тем же финарем...

Блатняки утихли, казарма присмирела. Коля Рындин опасливо поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина: вот так орлы — блатняков с ножами не испугались! Это какие же люди ему встретились! Ну, Зеленцов, видать, ходовой парень, повидал свету, а этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворый с виду, а на нож идет глазом не моргая — вот что значит боец! Поближе надо к этим ребятам держаться, оборонят в случае чего. Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позевал, поплевал в песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон.

Яшкин приспустил буденновский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев, на торцы нар, спиной к печи, и тут же запискрипывал носом, вроде бы как обиженно.

— Хворат товарищ сержант, — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке: — Я те помогать стану, дежурить помогать. Чё вот от желтухи

примать? Каку траву? Баушка Секлетиныя сказывала, да не запомнил, балбес.

— Да он с фронта желтый, со зла и перепугу.

— Да но-о!

Дежурные до утра не продержались. Лешка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и наконец сдался: обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок, на ощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз — и казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом спросил:

— О-ой, мама! Чё это такое? Где я?

Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынута. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Владли матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделался квадрат высветленного пространства.

Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание, несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или, как его еще любовно называют, — мачтовом, сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над